

ОН БЫЛ ВЕЧНЫМ ЮНОШЕЙ

В издательстве «Советский писатель» готовится к печати сборник воспоминаний о Павле Антокольском. Предлагаем вниманию читателей отрывок из мемуарного очерка Игоря Волгина.

Я никогда не был его учеником.

Я был учеником 8-го класса «Б» 626-й московской школы. Школа эта располагалась на набережной Канавы, за Балчугом, в самом начале Замоскворечья. Тихими летними ночами в распахнутые окна наших коммуналок, на секунду отстав от радиотрансляции, долетал бой курантов на Спасской башне Кремля, а по утрам нас будили звонки трамваев и зазывные крики точильщиков. Мы обитали в самом центре государства, как бы осененные его державной мощью, но нисколько не сознавали этого обстоятельства, ибо оно было бы-том.

Мы были ровесниками войны, и поэтому нас было мало.

Каждую весну 9 мая в школе устраивался утренник, посвященный не столь еще отдаленному Дню Победы. Однажды мне было поручено подготовить отрывок из поэмы Павла Антокольского «Сын». Я добросовестно выучил его, но, явившись на утренник, вдруг понял, что не смогу произнести ни слова.

Дело было не в робости. И не в том, что поэма мне не понравилась. Причина заключалась в ином: в стихах прорывалась интонация такая личная и такая горестная, что всякая попытка передать ее «от себя» представлялась мне, 15-летнему чтецу, недопустимым кощунством.

И мальчик рос. Ему ерошил кудри Весенний ветер, зимний — щени жег, И он летел на лыжах в снежной пудре И плавал в море, бедный мой дружок. Пожалуй, я без особой задумчивости рискнул бы изобразить Гамлета. Но — «бедный мой дружок»! Было невозможно переступить эту грань, может быть, потому, что сюжет поэмы оказался слишком приближенным к нашему — зияющему пустотами — послевоенному существованию.

«Как-то Павел Григорьевич спросил меня, веду ли я дневники. Выслушав мой уклончиво-отрицательный ответ (подразумевающий абсолютную надежность памяти), он вознегодовал: «Но ведь это же не профессионально! Ты литератор, ты, нако-

нец, историк, черт тебя побери! Учти, тебе придется сочинять мемуары, и ты, как это водится, наврешь в них с три короба. А у меня уже не будет возможности отредактировать мою собственную прямую речь!».

Впервые я увидел его в 1960 году.

Каждый субботний вечер я отправлялся на площадь Маяковского, где у недавно открытого памятника, как бы соединившего собой два отделенные тридцатилетием эпохи, читались стихи. Казалось, он только начинается, этот вечный полумочный российский спор — о главном.

Однажды к нашему полумочному форуму приблизилась поздняя компания. Ею предводительствовал артистического, почти божьего вида человек невысокого роста с трубкой в руках и большой черной бабочкой вместо галстука. Его чрезвычайно подвижное, как бы даже гримасничающее лицо выражало живейшее любопытство.

— Это Антокольский, — шепнул мне приятель.

Я мгновенно вспомнил гибель своей эстрадной карьеры. Я вспомнил «Сына» и не мог соотносить сдержанную тяжесть тех строк с блестящей эфемерностью этого, по-видимому, не склонного к сокровенной жизни человека.

Между тем на гранитную ступень возле памятника поднялся некий юноша и начал читать блоковскую «Незнакомку». Подошедшие замолчали и слушали внимательно.

«Незнакомка» в исполнении бледного юноши звучала так, как если бы ее сочинил не Александр Блок, а Александр Вертинский. Чтец нежно грассировал, старательно растягивал слова и делал томный акцент на реалиях и аксессуарах. «Упругие шелка» он пропел, зажмурившись от удовольствия и как бы приглашая присутствующих разделить его вещественный восторг. Он кончил под общий ропот одобрения.

Вдруг раздался хриплый, словно задуманный голос: «Нет, нет, это невозможно! Это кто угодно, но только не Блок!» Я обернулся. «Нет, нет и никогда!» — грозно восклицал Антокольский, отделя-

К 90-летию со дня рождения Павла Антокольского

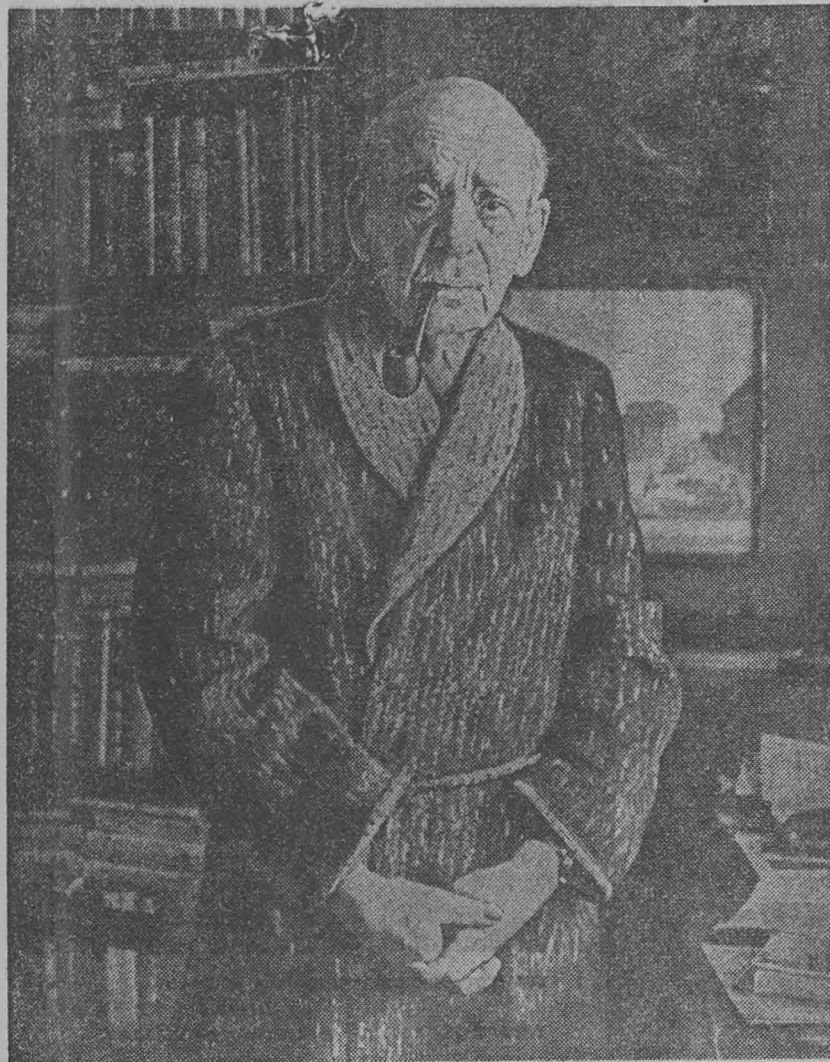


Фото А. КАРЗАНОВА

ясь от своих спутников и решительно занимая место, только что оставленное изысканным интерпретатором Блока. Он сердито огляделся, сжал в кулаке свою короткую коричневую трубку и, топнув обутой в щегольской лакированный башмак ногой, принялся читать «Скифов».

Признаться, ни до, ни после я больше не слышал подобного чтения. Казалось, судьба чтеца, да и всех нас, безмолвно внимавших — взлетам и задыханиям его хриплого, яростно kloчущего голоса, висит на волоске, и ее ужасное или, наоборот, счастливое разрешение зависит от того, какой выход укажет оратор из совершающейся на наших глазах сшибки мировых стихий.

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы. С раскосыми и жадными очами!

Когда речь дошла до острого галльского смысла и дымных громад Кельна, он произнес эти строки как имеющий право: не осталось ни малейшего сомнения, что это именно ему лично «внятно» то, о чем говорит Блок.

...Осенью 1961 года в доме, который, как принято говорить, памятен московским старожилам, Антокольский взял у меня стихи и прямо на них нацарапал мой телефон. Прошло недели полторы, и, откровенно говоря, я уже ни на что не рассчитывал. Но однажды далеко за полночь, пе-

реположив домашних, в моей квартире грянул звонок. «Тебя какой-то взрослый», — испуганно сказала мать.

Павел Григорьевич наговорил, в кричал. Потом, полуголый, я долго сидел у телефона, совершенно оглушенный случившимся.

Он был моим крестным отцом.

Летом 1962 года с университетской агитбригадой я отправился в Братск. В Иркутске на вокзале я купил «Литературную газету» (тогда еще четырехполосную), развернул ее и остолбенел: в рубрике «Доброго пути!», крупно набранное, значилось мое имя. Вступительная заметка была подписана Антокольским. Он давал мне аванс, который надо оплачивать всю жизнь.

Когда я начал заниматься Достоевским и эта работа стала отнимать все больше времени и душевных сил, мне показалось, что такое совмещение интересов не вызовет одобрения Павла Григорьевича. Однако он сказал мне, что судьба писателя неисповедима и что, выражаясь высоким слогом, не мы выбираем муз, а они выбирают нас. И что нет большего греха, чем не внять совпадающему с этим выбором внутреннему голосу и погубить в себе то, что зовется предназначением. Он говорил, что для поэта важнее всего оставаться самим собой, независимо от рода деятельности. И что стихи могут порой повести к самоотравлению — и тогда необходима суровая выучка прозы, ее целительное противоядие, дабы поэзия не погибла.

Он любил повторять слова Блока о духе музыки, применяя их ко всем видам творчества и предостерегая от измены этому духу.

Он был не из пугливых. Он был способен в ответ на почти директивную просьбу подписать коллективное письмо, пафос которого не мог разделять, рывнуть в телефонную трубку, не задумываясь о последствиях: «Антокольский умер!»

Как-то при мне ему позвонил крупный издательский начальник и стал убедительно просить написать положительный отзыв на рукопись одного поэта, занимавшего важный административный пост. Павел Григорьевич тут же осведомился, как мне нравятся стихи упомянутого поэта. Стихи мне не нравились, но, учитывая деликатность возложенной на моего собеседника миссии, я промывал что-то сугубо дипломатическое. Антокольский посмотрел на меня подозрительно: «Давай-ка проведем на месте следственный эксперимент!» Он протянул мне рукопись (очевидно, присланную заранее) и тоном, исключающим какие бы то ни было возражения, потребовал: «Читай вслух на выбор!» И, расположившись в кресле напротив, усиленно занялся трубкой.

Я стал читать, всем своим бесстрастным видом и тоном демонстрируя полнейшую лояльность как к произносимому тексту, так и к созревающему на его счет решению. Попробуйте, однако, сами прочесть стихи. Не поддержанные спасительным авторским завыванием, они мгновенно обнаружат свои телесные изъяны.

По мере моего чтения мой слушатель заметно мрачнел и взглядывал на меня все

более подозрительно. На третьем или четвертом стихотворении он не выдержал и схватился за телефон. Я не могу воспроизвести его монолог даже в приближенном пересказе: это превышает отпущенные мемуаристу возможности. Но полагаю, что тот, кому он предназначался, запомнил его хорошо и — в подробностях.

Слушать его было захватывающе интересно. Его познания в области отечественной и западной культуры отличались той фундаментальностью, которая противоположна и даже враждебна претендующей на универсализм поверхностности и крикливой эрудиции. Он не терпел двух вещей: искажения истории и, как говорили в старину, ошибок против чистоты языка.

Он часто поражал меня своей мгновенной версификационной реакцией: с ходу подыскивал неожиданную рифму или без долгих раздумий передерывал строфу. Мне иногда казалось, что этот кизиботок мастерства даже несколько мешает ему, ибо таит соблазн не подкрепленных изнутри сугубо технических решений.

Он много писал. Помню, как на его дачу в Красной Пахре зашел живший по соседству Константин Симонов, и Павел Григорьевич с нескрываемой гордостью поведал ему, что за два летних месяца он сочинил шестьсот с лишним строк. Симонов, нежно любивший Антокольского, неопределенно хмыкнул.

При всей своей кажущейся богемности он был внутренне собран и очень обязателен. Презрение к условностям и канонам сочеталось в нем с известной законопослушностью, что находило выражение даже в мелочах. Когда появились индексы на конвертах, я долго не мог привыкнуть к этому нововведению. Первое оформленное согласно новым требованиям письмо было получено мною от Павла Григорьевича. В этом сказались еще одна важная особенность Антокольского: он быстро, без видимых затруднений принимал все новое и нетрадиционное. Может быть, именно потому так легко сходился он с молодыми писателями, актерами, художниками.

Он сам был вечным юношей, добрым и благодарным, в котором отчаянное ребячество уживалось с горькой и печальной мудростью.

После смерти жены Зои Константиновны Бажановой Антокольский внешне почти не изменился: был так же жизнелюбив, общителен, легок на подъем. Но однажды, зайдя к нему вечером, я поразился гулкой тишине его квартиры, непривычному молчанию телефона, выражению глубокой усталости на его лице. Я вдруг заметил, что он очень стар и, может быть, очень одинок. С горечью я подумал о том, что, занятый своими якобы неотложными делами, я нечасто находил время навестить его или просто позвонить ему и что никакие соображения не могут меня оправдать.

Я не был его учеником. Но не был им лишь потому, что то благо, которое он изливал на нас, больше учителя: оно свидетельствует об отцовстве. Когда он умер, обнаружилось, что вместе с ним ушла молодость каждого из нас.

Игорь ВОЛГИН